

Д. МАМИН-СИБИРЯК

Повести  
Рассказы  
Очерки  
!

Мамин-Сибиряк Д. Н. Повести; Рассказы, Очерки //Моск. рабочий, М.:  
1983

FB2: "Miledi ", 2008-02-24, version 1.0

UUID: 3e8c362c-2faa-102b-868d-bf71f888bf24

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

# Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

**“в худых душах...”**

(Повести и рассказы разных лет)

Рассказ.

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0011
III.....	.0017
IV.....	.0025
V.....	.0031
VI.....	.0043
VII.....	.0052
ПРИМЕЧАНИЯ.....	.0058

**Дмитрий Наркисович Мамин-  
Сибиряк  
«В худых душах...»**

— Вот тебе и Шерама... – проговорил мой возница, тыкая кнутовищем по направлению блеснувшей из-за пригорка степной речки Уразаевки. – Как на ладонке...

Шерама, село дворов в полтораста, красиво облепило бревенчатыми избами холмистый берег Уразаевки. Издали можно было залюбоваться им. Таких сел в Зауралье попадаетея очень много. Одно только портило картину: насколько хватал глаз, ковром расстилались все поля и поля, и нигде не было даже клочка леса. А прежде, лет полтораста назад, судя по преданиям, вдоль берегов Уразаевки красовались вековые бора, – и аборигены[1] Шерамы, башкиры, откочевывали на летние тебеневки [2] далеко, в Ишимскую степь. Даже пней не осталось от этих боров, все выжгли уральские заводчики, им усердно помогали и сами крестьяне. Русский человек ценит лес только тогда, когда его изведет до последнего дерева. Впрочем, шераминские мужики не особенно тужат об исчезнувших лесах, потому что на месте этих лесов теперь зеленеют бесконеч-

ные хлебные поля, сенокосы, и только часть остается под пустошами, куда выгоняют скот. История этих исчезнувших в Зауралье лесов живо напоминает историю прежних обитателей этого благословенного края, башкир; последние давно уже вытеснены из лучших мест русским населением. От башкир остались во многих местах только одни названия. Так, речка Уразаевка и село Шерама – несомненно, названия башкирские, хотя в Шераме не найдете ни одного башкира, как и по всему течению Уразаевки. Здесь плотно и крепко осело русское население, и между бывшими башкирскими деревнями рассажались чисто русские села: Шляпово, Новоселы, Полома и так далее.

Но зауральский мужик совсем не того типа, к какому привык глаз в великорусских губерниях. Здесь живет народ «естевой», то есть зажиточный (вероятно, от слова: есть), «народ-богате́й», если сравнить с «Расеей». Матушка Сибирь вспоила, вскормила его и на ноги поставила. На привольных местах окреп тот же самый народ, раздобрел. Недаром славятся сибиряки своей смышленостью и про-

мышленным характером. Под боком киргизская степь, Обь с своими притоками; позади стеной подымается Урал – было где поучиться зауральскому мужику уму-разуму.

От деревни Шляповой до Шерамы вез меня какой-то дядя Евмен и всю дорогу весело балагурил на своем облучке. При виде Шерамы даже Евмен пришел в некоторый восторг, потому, вероятно, что она раскинулась, «как на ладонке».

– Важное село, – говорил, любуясь, Евмен, когда наша телега начала осторожно спускаться по крутому косогору прямо к реке. – А вон дом попа Якова... Естевой поп. Тебе к нему?

– Да.

– Ну, ты, ма-ахонькая! – прикрикнул на свою лошадь Евмен, прыгая на облучке; его рубаха из изгребного холста[3] надулась парусом, показывая свои кумачные ластовицы. – Попадья Руфина пирогом попотчует, – прибавил Евмен, поворачивая ко мне свое широкое улыбавшееся лицо с оскаленными зубами и загорелым румянцем.

– Любите попа Якова? – спросил я.

– Якова-то? Пошто его не любить – любим... Он у нас как мохом оброс. Теперь, надо полагать, на пятый десяток перевалило, как он поступил к нам в Шераму. Нет, ничего, любим Якова... у него десятин сорок, поди, посеяно – да скотины сколько... всякой всячины – дивно! Яков-то все у нас сам доспиет[4], своими руками, оттого мы его и любим. Примется пахать, так куды мужику, не угнаться... Могутный из себя, навалится на сабан[5], так лошадь-то только-только не закричит, едва выворотит полосу-то. Важно пашет... А примется косить или сено метать, или молотить – только успевай глядеть. А вот жать – нет, не может, – с улыбкой прибавил Евмен, поглаживая свою бороду мочального цвета: – брюхо не позволяет... Как нагнется, глядишь – и сел. Ей-богу!.. Да и то сказать, старо место, на седьмой десяток перевалило, где уж за молодыми угнаться...

После короткой паузы Евмен потрянул своей головой и, поправив шляпу на один бок, проговорил задумчиво:

– А ведь у попа-то Якова ноне не ладно в дому...

– Что так?

– Да так... – коротко ответил Евмен таким тоном, который делал дальнейшие расспросы совершенно излишними.

Мы въезжали в самое село. Широкая улица, обставленная рядами красивых изб, вела прямо к каменной белой церковке, красиво прятавшейся в густой зелени черемух, лип и берез. Наше появление, конечно, прежде всего обратило на себя внимание деревенских собак, которые с азартным лаем настоящих провинциалов провожали нас до самого дома о. Якова. Я очень люблю этот домик, выстроенный о. Яковом из старинного кондового леса; он так добродушно поглядывает из-под своей порыжелой тесовой крыши узкими окошечками с белыми ставнями, точно вот-вот сейчас хочет улыбнуться. Лет десять не бывал я в этом доме, но он не изменился ни на волос, только как будто глубже врос в землю да плотнее надвинул свою крышу прямо на глаза, как старую разносившуюся шляпу.

– А вот и попадья Руфина!.. – проговорил Евмен, когда наша телега мягко подкатилась по зеленой полянке к воротам, точно по ков-

ру.

У ворот стояла низенькая толстая старушка в полинялом темненьком ситцевом платье и, заслонив черные узкие глаза короткой пухлой ручкой, внимательно всматривалась в меня. Ей было под шестьдесят, хотя на вид она казалась бодрой еще не по летам. Круглое добродушное лицо было покрыто мелкими морщинами; они собрались около глаз и рта лучами, разбегавшимися по всему лицу при каждой улыбке.

— Здравствуйте, Руфина Анемподистовна, — здоровался я, слезая с телеги. — Не узнали меня?

— Да где тебя сразу-то узнаешь, — отозвалась добродушно старушка, видимо еще сомневаясь в твердости своей памяти. — Ах, бабюшки... да ведь это ты... — встрепенулась старушка, называя меня по имени. — А уж я-то не чаяла тебя и в живых видеть... Никак, лет десять будет, как ты не бывал у нас?

— Около того.

Старушка обняла меня и расцеловала, а потом, схватив за рукав пальто, бойко потащила в «горницу». Пока мы шли от ворот к старому крылечку, она несколько раз оглядывалась на меня, как будто стараясь убедиться в том, что имеет дело не с призраком, а с живым человеком. Конечно, при таком благоприятном случае старушка не преминула всплакнуть и сквозь слезы с каким-то детским всхлипыванием шептала:

— Из себя-то уж ты больно тово... в чем душенька!.. Все, небойсь, учился? Ох-хо-хо...

Учитесь вы до седого волоса, а когда жить-то будете...

– Как отец Яков здравствует?

– Здоров, ничего... Что ему сделается?..

Дворик у о. Якова был устроен на крестьянскую руку. Службы были заняты «стойками» для скотины, амбарами, сусеками и громадным сеновалом. На задней половине двора помещалось отделение живности; из-за перегородки весело смотрела мохнатая голова годовалого жеребенка; несколько овец лежало в тени амбара, вытянув по земле шеи. Из самой глубины двора выглядывала маленьким окошечком крошечная банька; в ней о. Яков любил отдохнуть летом после обеда чашечкой-другой и «позолотить хлеб-соль», то есть покурить из большой деревянной трубки. Посреди двора стояла тюменская телега, на которой только что приехали с поля; на колесах оставались следы вчерашней грязи, а из кузова лезла во все стороны не успевшая еще подсохнуть недавно скошенная трава. Под навесом у погреба были сложены бороны.

– Милости просим... – говорила матушка Руфина, с легким перевальцем утицей забегаая

по настланным дощечкам в темные сени; она распахнула дверь в кухню и любовно смотрела на меня своими черными глазками.

Если во дворе было царство о. Якова, то за порогом сеней начинались уже владения матушки Руфины. Я всегда с некоторым благоговением переступал через этот порог; за ним каждая вещь говорила о неустанном, вечном труде. Налево от входных дверей, за косяком, стоял обыкновенно посошок о. Якова; если посошок дома – и хозяин дома, посошка нет – и хозяина нет. Теперь посошок отсутствовал. Направо в углу стояла крашеная деревянная кадка с водой, а потом целый арсенал сундуков, ящичков, ящичков, коробушек, плетенки и тому подобного «хлама», как называл о. Яков весь этот хозяйственный скарб. От самого порога сеней вела в горницу белая, как снег, тропинка из домашнего холста.

Ход в горницы шел через кухню, и другого не полагалось. «Что я, разве губернатор какой, чтобы парадное крыльцо строить, – говорил поп Яков. – Я, брат, своими руками дом-то строил... Тут не много разгуляешься. Было бы тепло!» Впрочем, незнакомый человек не

скоро бы и догадался, что он в кухне. Русская печь скромно пряталась за ситцевой занавеской, посуда была всегда прибрана, и, может быть, только один пузатый самовар, всегда стоявший на залавке, мог навести некоторое сомнение своим присутствием.

– Снимай балахон-от свой, – говорила матушка, помогая мне снять верхнее пальто. – Гость будешь, да еще какой гость-то... Вот ужо поп придет, так он как обрадуется...

Прямо из кухни одна дверь вела в горницу самого о. Якова; эта горница выходила тремя окнами на улицу и была перегородена низенькой ширмой пополам. За ширмой стояла широкая двуспальная кровать. Вторая дверь вела из кухни в горницу матушки Руфины, крошечную комнатку, выходившую одним окошечком на двор. Нужно сказать, что в домике о. Якова всегда стоял совершенно особенный воздух, весь пропитанный каким-то специфическим ароматом. Не то росным ладаном пахло, не то старой вишневой наливкой или геранью – не разберешь хорошенько.

– А это у вас что за оружие? – спросил я, рассматривая полицейскую шашку, которая

висела на ширме вместе с белым кителем.

– Да ведь Прошку-то помнишь? Ну, еще из училища его тогда исключили! Это его муниципия... Он у нас урядником служит в Шераме. Как же, чин получил недавно... Теперь где-то в Полому уехал, ловит кого-то.

– Кого?

– Да в Полومه-то попом отец Ксенофонт, а у него сын... Ну, там где-то в Москве обучался. Только это так... он совсем ничего, а это Прошка придумал.

На маленьком столике, который стоял в углу комнаты, были разложены книги и стопкой лежали подобранные номера газеты. На одном переплете я прочитал «Das Kapital, von Marx»[6].

– Это Кинтильяновы книги, – предупредила мой вопрос старушка. – Ты его не помнишь, поди? Нет, где помнить. Он еще в училище тогда учился, когда ты был у нас в последний-то раз.

– Ведь у вас еще два сына?

– Да, как же... Митрей-то Яковлич попом теперь в Зюзиной служит, а Никаша – дохтуром земским. Четверо их у меня.

– А дочь? Ведь у вас была девочка, Аня.  
Старушка только махнула рукой.

– Замуж вышла?

– Нет...

– Умерла?

– Хуже... – прошептала со слезами на глазах бедная старушка и, осторожно оглядевшись кругом, таинственно проговорила: – Ужо расскажу тебе вечером, когда уберусь. Да вон и поп с Кинтильяном идут... Обедать сейчас будем.

Поп Яков вошел в это время уже в кухню и, заметив меня, проговорил своим густым баском:

– Да это никак...

Он назвал меня по имени и, заключив в свои могучие объятия, облобызал. Высокого роста, с могучей грудью, поп Яков смотрел настоящим русским богатырем, а благообразная седина придавала его фигуре нечто патриархальное. Когда, мальчуганом, я учил историю ветхозаветных патриархов, поп Яков для меня служил живым и наглядным примером; я отлично представлял себе фигуру библейского патриарха Иакова – стоило только закрыть глаза и припомнить попа Якова. Десять лет, в течение которых я не видал его, почти не изменили его наружности, за исключением разве того, что косматая окладистая борода из седой превратилась в желтую, да на высоком лбу легло несколько глубоких морщин. И костюм на о. Якове оставался тот же, то есть нанковый[7] синий подрясник с высоким стоячим воротником, каких нынешние модные

батюшки уже совсем не носят; из-под подрясника выглядывала ситцевая рубашка-косоворотка, перехваченная тоненьким гарусным пояском чуть не под самыми мышками. Этот поясок мне всегда казался особенно забавным, потому что без подрясника, в одной рубашке, как частенько ходил дома о. Яков, он походил на колоссального ребенка. Старик любил в таком виде работать во дворе или в огороде, а на пашне это было даже ему необходимо, потому что подрясник только заплетал ноги и мешал работать.

Широкое русское лицо попа Якова глядело своими большими серыми глазами строго и внушительно; губы всегда были плотно сжаты и очень редко распускались в улыбку. И в фигуре, и в движениях, и в выражении лица сказывался человек, который «в поте лица снискивал» свой хлеб. Я всегда любил эту спокойную уверенность попа Якова, его медленную речь, веселую умную улыбку, которою все лицо точно освещалось.

На этот раз меня неприятно поразила только одна перемена в о. Якове; он оставался прежним попом Яковым, – но это по наружно-

сти. Глаза же смотрели как-то неестественно пытливо, и он несколько раз тревожно поглядывал в окно; улыбался он тоже не по-прежнему – какой-то натянутой, не своей улыбкой. Вообще во всем – в движениях, в голосе, во взгляде и в улыбке – чувствовалось то «неладное», о чем мне говорил дорогой Евмен.

– Ну, мать, соловья баснями не кормят, – заметил о. Яков, когда мы успели обменяться первыми вопросами, какие неизбежны между старыми знакомыми после долгой разлуки.

Кинтильян, сын, только издали поклонился мне и даже не вошел в горницу. Он был одет в коротенькое казинетовое[8] пальто; казинетовые брюки были заправлены за сапоги. Такая же ситцевая рубашка, как у о. Якова, была точно так же подпоясана гарусным пояском и выпущена поверх брюк, на мещанский манер. На вид ему можно было дать лет двадцать пять; русая пушистая бородка красиво обрамляла его бледное, изнеможенное лицо и придавала ему какую-то преждевременную серьезность. Вообще и ростом и лицом Кинтильян походил на мать; отцовского

в нем оставались только одни глаза – серые, большие, строгие, с темными густыми ресницами.

– Милости просим... – приглашала матушка, появляясь в дверях. – Только уж ты, гостенек, не обессудь нас на нашей простоте... Нечем тебя угощать-то, потому приехал к самому обеду, а печка у меня уж простыла.

– Ничего, вечером пельмени сделаешь, – успокоил о. Яков старушку. – А теперь пусть отведаст нашего мужицкого кушанья... Ешь просто, проживешь лет со сто! – пошутил ба-тюшка.

Мы уселись в кухне за маленький деревянный столик, накрытый синей изгребной скатертью. Тарелок не полагалось. Ели из одной чашки деревянными ложками. Кушанье было собственно два – щи и гречневая каша. Зато щи матушки Руфины стоили целого обеда. Таких щей никто не умел делать, и старушка гордилась своим искусством.

– Давно ли попал в наши Палестины? – спрашивал о. Яков между первой и второй чашкой щей. – Там ведь, в вашем-то Петербурге иль в Москве, все бедовый народ живет.

– Ну уж, пошел... – с неудовольствием заметила матушка.

– Чего пошел?! Я дело говорю... Вон благочинных запретили выбирать... Везде суд, да доносы, да подозрения, – говорил как-то отрывисто о. Яков и вдруг спросил: – А где у нас Прощка, мать?

– Сам знаешь где, – неохотно ответила матушка.

– Это он в Полому забрался? Да не пес ли... не за столом будь сказано... Да Ксенофонт-то разорвет его, как дохлую кошку... Ну и народец только нынче пошел!..

Отец Яков все время сильно волновался и несколько раз принимался бранить то Петербург, то Прощку. Кинтильян хранил самое упорное молчание и не проронил ни одного словечка. После обеда о. Яков увел меня в горницу, закурил свою деревянную трубку и опять навел разговор о Петербурге. Несколько раз он среди своей речи бросал трубку, рылся в газетах и вынимал какой-нибудь номер, где карандашом было отмечено все достойное примечания.

– Нет, он нам вот где, ваш Петербург-то, –

говорил старик, указывая на свой могучий затылок. – Ой, как солоно он приходится... Да! Хорош Питер, да бока повытер... Кажется, живешь себе в таком месте, что и ворон костей не заносит, а глядишь – не тут-то было. Да!.. Прежде я этих самых газет и в руки никогда не брал, разве про войну прочитаешь, а нынче не-ет... Ждешь не дождешься номера-то, как Христова дня. Не прежние времена... Вон мужики – и те как газеты любят читать. Недаром, видно, пословица сложилась, что в городе дрова рубят, а в деревню щепки летят...

Вечером матушка Руфина приготовила пельмени, а когда мы уже сидели за столом, явился и Прошка – из Поломы. Он был верхом и едва мог спуститься с седла. Пошатываясь, вошел он в кухню и красными, воспаленными глазами посмотрел на всех. Плотный, коренастый Прошка цвел завидным здоровьем.

– Ну, что, не отколотил тебя Ксенофонт? – спросил о. Яков.

– Н-нет... мы помирились, – заплетавшимся языком ответил Прошка, стараясь сохранить равновесие, а потом покрутил головой и улыбнулся пьяной блаженной улыбкой. – Мы

с Ксенофонтом-то целую четверть раздавили, родитель... А я ему все-таки покажу! Нет... я ему... Он меня сначала-то за ворот схватил...

– Я бы на его месте так просто удавил бы тебя, яко смердящего пса! – заметил о. Яков. – Взятку, небойсь, хотел взять?..

– Н-нет, зачем взятку брать... закон не велит, а вот четвертную мученицу ничего... не воспрещено...

Прошка только теперь заметил меня и сейчас же преобразился, принял деловую осанку, нахмурил брови и строго спросил:

– А позвольте, милоствый гсдарь... документы!

– Я тебе покажу такие документы, что ты у меня не будешь знать, которым концом сесть... – зарычал о. Яков.

– Да я так... пошутил... – осклабился Прошка и, махнув рукой, прошел в горницу.

Отец Яков хотя и храбрился все время, но я заметил, что он не в своей тарелке. Нет-нет и посмотрит в окно как-то из-за косяка, точно он опасался какой-то засады или нечаянного нападения. Матушка Руфина тяжело вздыхала и подбирала губы оборочкой, делая вид,

что ничего не замечает.

## IV

Вечером мы долго калякали с попом Яковом, сидя на завалинке во дворе. Говорили о разных разностях и, между прочим, о местных новостях.

– Ябеда везде пошла, – объяснил мне старик. – Прошка-то, – видел его давеча, – раньше был сельским учителем. Так этот самый отец Ксенофонт все на него доносы писал: и в церковь, мол, не ходит, и газеты мужикам читает, и по постным дням скоромное ест... Выжил ведь парня с места! Шатался-шатался Прошка без места, а потом за свою простоту в урядники попал... И как это он устроил – ума не приложу. А как попал, и пошла потеха... Есть тут в Новоселах псаломщик, Варвар. Башка, я тебе скажу! Вот этот Варвар повздорил о чем-то с отцом Ксенофонтом и давай доносы жарить на его сына, а Прошка его ловить... Теперь у них такая каша, что упаси боже!.. Ксенофонт-то больно дерзок на руку и силен, медведь медведем. Вот когда-нибудь он освежает Варвара с Прошкой...

Попадья Руфина, пока мы беседовали на

завалинке, подтыкав подол, таскала ведро за ведром в стойки, где мычали только что вернувшиеся с поля коровы. Старушка искоса поглядывала на нас, улыбаясь, и, перегнувшись на один бок, с старческим побряхтыванием семенила по двору. Когда она прошла с большим дойником доить коров, поп Яков поднялся и проговорил:

– Ну, заболтался я с тобой... Поди-ка спать в баню, там уж мать все тебе приготовила. Утро вечера мудренее... А мне еще нужно к завтраму дров наносить попадье да телегу вымазать.

– А что ваш доктор? – спросил я.

– Это Никашка-то? Служит в земстве, что ему сделается. Недавно был у нас с женой... Ты разве не слыхал? Женился... Таковую госпожу в очках подцепил, что... Ну, да это не нашего ума дело: ему с ней жить-то, а глянется, так и слава богу.

Поп Яков побрел за дровами, а я отправился в баню. Там матушка Руфина когда-то успела уже все приготовить. На широкой лавке был постлан киргизский войлок, покрытый чистенькой простыней с плетеным кружевом

у спускавшегося на пол края. Ситцевая подушка, взбитая пухленькими ручками матушки Руфины, высилась горой. Рядом с постелью на деревянном табурете была поставлена сальная свеча в железном луженом подсвечнике, и тут же лежало несколько номеров газеты и еще какая-то книга. Добрая старушка обо всем успела позаботиться, чтобы доставить гостю все удобства. Я развернул книгу и невольно улыбнулся. Это были какие-то литографированные записки по женским болезням. Нужно сказать, что матушка Руфина не умела читать и притащила первую попавшуюся под руку книгу.

В бане было немного душно, и я открыл окно. На меня глянула пахучая летняя ночь и краешек синего неба, усыпанный звездочками, как серебряными блестками. Тут же под окном, на двух грядках, росли кусты малины, образуя зеленую беседку. Несколько кустов бузины и ряды гряд с капустой, картофелем и горохом упирались в низкую изгородь, которую усадьба попа Якова разграничивалась с владениями церковного старосты, зажиточного мужика Никитича. По наружной сторо-

не бани по натянутым веревочкам вился зеленой спиралью хмель; пара молоденьких веточек его с детским любопытством заглядывала в самое окно. Наверно, Аня любила этот тенистый уголок, где летом так удобно работать. Я едва помнил ее девочкой лет двенадцати, с любопытными и серьезными черными глазками, с неправильным, но симпатичным, всегда загорелым личиком... Где-то ты, Аня, проводишь эту мягкую и поэтическую ночь?

В открытое окно тянуло свежим ночным воздухом, вносившим с собой пеструю смесь звуков, какими отдавала теперь спавшая глубоким сном Шерама. Где-то перекликались деревенские собаки, ржала лошадь; глухо погромыхивая, прокатилась по деревенской улице запоздалая телега. Точно с того света донеслась и сейчас же смолкла далекая проголосная песня. Кто ее поет, эту песню: может быть, молодой деревенский парень, которого зазнобила девичья краса; может быть, выливается в ней чье-нибудь одинокое тяжелое горе; может быть, поет забубенная головушка, кабацкий пропойца... Мудрено поет русский

человек; не разберешь хорошенько, горе или радость заставляет его петь.

Любуясь ночью, я вспомнил про женитьбу доктора Никашки.

Странный был человек этот Никашка. Как теперь вижу его в коротенькой люстриновой [9] поддевке, в таковых же шароварах, заправленных за сапоги, и в сером мужицком чекмене, который он носил вместо осеннего пальто. Из-под мягкой коричневой пуховой шляпы любопытно и насмешливо выглядывали два черных бойких глаза. Узкое лицо с козлиной бородкой и широкими губами отличалось необыкновенной подвижностью и постоянно улыбалось умной, немного иронической улыбкой. Одним словом, уродился Никашка, как говорится, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Таким учился и таким жить пошел, да, вероятно, таким и останется до гробовой доски.

Помню – это было в начале шестидесятых годов, – как в первый раз явился Никашка в Шераму доктором в своей поддевке и верхней сермяжке. Удивил он даже деревенскую простоту. Щеголяли и другие сермяжками, да ско-

ро бросали, а Никашка так и остался в ней на всю жизнь. Прост был Никашка, да и время тогда было совсем особенное, не в пример другим. Идеальное было время, хотя Никашка в простоте своего сердца считал себя «мыслящим реалистом». Жил этот доктор еще проще, чем одевался. С удовольствием припоминаю, какое неизгладимо сильное впечатление производил Никашка тогда на нас, школяров. Что-то такое хорошее, убежденное, верующее чувствовалось под его сермяжкой, и мы льнули к нему, к его книжкам, к его рассказам об *alma mater*[10].

Только давно это было, много воды с тех пор утекло, а, право, доктор Никашка остается для меня лучшим и самым дорогим воспоминанием, как хороший юношеский сон, смутный и неопределенный, но после которого чувствуешь такой прилив молодых сил.

— Ты не спишь еще? — слышался голос матушки Руфины, и ее круглое сморщенное лицо показалось в оконце.

— Да еще рано...

— То-то, я смотрю, окно не заперто... Дай, думаю, загляну, — прибавила старушка, точно в свое извинение. — Да зажги свечу-то, чего в потемках разговаривать... Не воровать пришли!

Я чиркнул спичкой и зажег свечу. Желтый неровный свет разлился по бане и осветил лицо старушки; оно было теперь серьезно и печально. В раме окна на темном фоне матушка Руфина походила на портрет старинной голландской школы.

— О чем с попом-то разговаривали даве?

Выслушав мой рассказ, она тяжело-тяжело вздохнула и, пристально взглянув на меня, заговорила:

— Ничего-то я, ровнешенько ничего не понимаю... Хоть расколи меня! Точно вот не я слушаю, а кто-нибудь другой...

Матушка сильно пригорюнилась, высмор-

калась и, вытерев кончиком фартука глаза, опять начала:

– Вот я и пришла к тебе... поговорить с тобой. А то хожу я, как в потемках все равно. Да... Смертоньки нет, а жить, пожалуй, и в тягость. Отдохнуть бы старым костям...

– Что вы, Руфина Анемподистовна, – поспешил я успокоить старушку, – зачем умирать. Еще жить нужно...

Старушка только махнула рукой, а потом, улыбнувшись сквозь слезы, прибавила:

– Известно, раньше смерти не умрешь... а только пора. Как человек не стал ничего понимать, значит, пора и в землю. Чего даром-то небо коптить?

– А вы о чем со мной хотели поговорить?

– О чем поговорить-то хотела?.. – в раздумье повторила мой вопрос старушка. – Видишь ли, надо сначала тебе рассказать все, как дело-то наше вышло, а потом уж я тебя и спрошу. Только я тебе зачну с самого начала рассказывать...

– Рассказывайте, я с удовольствием послушаю.

– Ты ведь Никашу-то помнишь?

– Как же, очень хорошо помню. Он женился?

– Женился... – уныло ответила матушка. – Была я у них как-то, у Никаши-то... Расскажу я тебе, как в гости-то ездила. Уж после свадьбы была. Он ведь в городе живет, в Мохове. Там и квартира у него. Только сам-то он больше в разъездах. Должность-то свою все собачьей службой зовет да еще прибавит: «Волка ноги кормят, маменька!» Знаешь его: у него каждое слово неспроста, все смешком. Ну, давненько он меня звал к себе в гости, да все недосуг был, а тут как-то перед рождеством я и собралась от свободы. А давно в городе не бывала, да и на лошадях страсть боюсь ездить... хуже смерти! Всю дорогу под подушкой лежала... Думаю, если и убьют меня лошади, так хоть невзначай. Не видали бы глазыньки. Вот и приехала я в город, на его квартиру, часов этак и десять утра, а он еще спит, и жена спит. В разных комнатах спят, по-образованному, она на одном конце дома, он на другом. Грешным делом, случись пожар, один сторит, а другой и не услышит. Все по-образованному... Хорошо. Промерзла я в дороге, а ра-

ботница вышла разряженная такая...

– Горничная?

– Ну, по-вашему горничная, а по-нашему работница... Только хотелось мне чайку испить с дороги – не посмела, горничную-то побоялась беспокоить, а самой ставить самовар да в чужом доме как-то и неловко. Хоть и деревенская дура, а все-таки докторова мать. Ну, вот докторова мать и сидит час, сидит другой, инда в горле пересохло, а все не смею спросить самовару... Только встали, наконец, то есть Никашка встал. Увидал меня, обрадовался. Сидим, калякаем. Только выходит жена... А я еще и не видала ее. Посмотрела на меня этак сыздальки, кивнула головой, усмехнулась и пошла опять в свою комнату. Из себя женщина довольно полная и молодая, ну, а личиком как будто не вышла маненько... Шадрина[11] и глаза как-то навывкате, точно кто ее стукнул по затылку. «Наташа, – говорит мне Никаша, – умная... Ты уж не обращай на нее внимания, у ней, говорит, характер...» Как-то это он мудроно выразил, да я и позабыла. «Вижу, говорю, Никаша, что умная у тебя жена... Вот бы, говорю, чайку ис-

пить...» Подали самовар... А надо тебе сказать, что квартира у Никаши хоть и хорошая, да только столь она грязна, столь грязна, – и не умею сказать... Вот когда перед пасхой дома убираем, так в этом самом роде. И самовар, и чашки – все под одну статью... Ну, мы с Никашей чай пьем, а жена в книжку читает и цигарку при этом курит. Только в своей деревенской простоте я и спрашиваю: «А сколько ты, Никаша, в год проживаешь?» Женато как воззрится на меня. «Вы, – говорит этак высоко, – подсчитывать, что ли, нас приехали?» – «Извините, говорю, невестушка, на глупом слове, потому как я сказала спроста...» Ну, ничего, напились чаю, а тут за Никашей приехали из уезда. «Вы, говорит, маменька, погостите тут, пока я езжу...» Я сдуру-то и останься. Ну, не понимаю, значит, как это по-образованному-то люди живут, дай погляжу. Никаша уехал, а я сижу. Походила по комнатам, небель посмотрела, обзаведенье... А жена все в книжку читает, точно по комнатам кошка ходит. Ей-богу. И смешно мне и жаль, то есть Никашу-то жаль. Села я этак к окошечку, пригорюнилась. Сидела, сидела, вплоть до самого

вечера высидела... Обедают у них в семь часов вечера, когда мы ужинаем. Ну, тут мне и вспади на ум: чего, мол, я дуру здесь строю?.. Пошла на двор да и велела лошадей запрягать мужику, благо они отдохнули. Так, не евши, и уехала от гощенья; дорогой уж калачик городской прихватила да на станции съела... Я тебе это не к тому рассказываю, чтобы жену Никаши осудить... Господь с ней! Может, она и в самом деле ученая, а я только к тому веду речь, что понятия во мне не стало... Не понимаю ничего, и конец. По-Никашину, это, может, и хорошо так жить, а мне так его жаль... Прост он, Никаша-то, вот что! О чем я, бишь, хотела рассказать-то... Ты перебил меня этой свадьбой-то...

– Да о Кинте хотели рассказывать, матушка.

– Да, да... припомнила. Это я со снохой-то спуталась... Ну, помнишь, как тогда Никаша дохтуром приехал? Тогда Кинте уж в семинарию надо было переходить... Нет, не так. Митрею – в семинарию-то, а Кинтя в духовном училище учился. Так вот Митрея-то тогда из семинарии исключили. Никаша и взял его к

себе. А Митрей, кроме своей водки, и знать ничего не хочет... Побился-побился с ним Никаша года с два, так ничего и не смог сделать, а Митрей в псаломщики поступил, а теперь в попы вылез. Это прежде трудно было в попы попадать, надо было из богословия, а нынче исключают из семинарии, а потом его же в попы и поставят. Так вот Митрей-то Яковлич первое горе нам с отцом и сделал. А теперь ничего, выправился. Сытый такой, горло широкое, конский завод держит... По-моему, это не подходяще попу... Только это мы успели оглянуться, а тут Прошка из училища вылетел. Этот уж совсем дурашливый уродился, так, пожалуй, и горя бы не было. Думали, пусть его при домашности останется; все же, пока мы живы, с голоду не помрет. А Никаша давай Прошку учить, да в учителя и определил... Ну, дальше уж знаешь, какая каша вышла с Ксенофонтом этим да с Варваром. Так вот трое у меня старшеньких сынков, как-никак, а все при месте. Опять вздохнули мы с попом свободнее, думаем – теперь отдохнем, потому Кинтильян учился первым, а Аня дома жила, так какая забота о ней. Ну, как, зна-

чит, человек возгордится, как мы возгордились с попом Яковом, господь его и найдет... Мы думаем теперь, вот отдых нам пойдет, – а глядишь, вместо отдыха горе, да еще какое горе-то!.. Вот у меня их пятеро, как перстов на руке, а всех одинаково жаль, да глупого-то, как Прошку, еще больше жаль. И пословица говорится: умного-то жаль, а дурака вдвое...

Старушка печально смолкла и, как бы отдохнув, продолжала:

– Из четырех сынов Кинтильян был самый меньшенькой, – так начала старушка подавленным голосом, – только еще Аня была его моложе... Та уж так и родилась и росла совсем на особицу: одна дочка в доме, балованное да нежное дитяtko... Ну, так Кинтя как еще родился, так не нарадовались мы на него с попом... Точно сколоченный весь, как ядреная репа. Родился – и кулаки себе сосет, всех насмешил. Так он и вырос... Уж сколько же и хорош вырос мой мальчик: точно нарисованный. Не приходится свое детище хвалить, а к слову пришлось, да и дело прошлое. Румяный, брови черные, глаза, как у отца, да светленько таково поглядывают, и на все руки па-

рень: озорничать так озорничать, учиться так учиться. Растим парня да потихоньку радуемся. И какой-то, господь его знает, характер у него особенный: грубого слова не слыхивали, обиды не знали. Шелк, а не парень. И все-то он видит и все понимает, а стал подрастать – стишал, телячью-то бодрость оставил. Так мы его тогда и в училище это отдали. Отдали, учится, а что ни праздник, то нам, глядишь, новую радость везет, учился все первым, и учителя не нахвалятся. Кроткий да гораздый парень на все. А приедет домой, книжки все до единой привезет и все их учит. Поиграет и учит. Вчуже приятно было смотреть. Все завидовали, а мы напринимались маяты-то с Митрием-то Яковlichem да с Прошкой-то, так нам это все вдвое кажется. Только одного и боялись, чтобы не избаловать. Поедет, бывало, к Никаше в гости и тоже книжки привезет и опять читать. Так он из училища первым поступил в семинарию и там первым кончил, а сам точно красная девица: румянец во всю щеку, как налитой. Водки капли в рот не брал, не курил этих сигарок... А здоровье у него, точно бы и век не изжить:

никогда не хварывал ничем...

Вот после семинарии-то и грех первый у нас вышел, – продолжала старушка: – отцу взбрело что-то на ум уговаривать Кинтю идти в попы. И с чего это он придумал – ума не приложу! Сам всегда говорил, что поповское житье самое последнее, а тут на поди... Наладил, что, как умрем, некому будет пред престолом господним стоять... Так уж это, накатился стих такой... Ну, Кинтя слушал-слушал отца-то, тихонечко этак усмехнулся, да и ответил: «Это, говорит, вы меня дармоедом хотите сделать?» Тут уж отец из себя вышел: засучил рукава, да и показывает ему руки. «Погляди-ка, говорит, щенок ты этакой, разве у дармоедов такие мозоли живут на руках? Это, говорит, вы – дармоеды-то... Знаю, говорит, кто тебе в уши надул: Никашка!.. Он думает, говорит, что большое жалованье получает да образование имеет – так только будто и свету, что в окне? А я, говорит, горбом добываю каждый кусок, да этим же куском меня и корят...» Ничего не сказал Кинтя, сложил себе котомку, попрощался и ушел. «Куда, говорю, идешь-то?» – «Учиться», – говорит. Думаем с отцом,

что к Никаше уйдет, на брата надеется. Стороной наведались про Никашу, а тот и сном дела ничего не знает. Тут уж мы и схватились за ум... Погорячился отец-от, понадеялся на его кротость, а надо бы его потихоньку да лаской. Ну, погоревали, потужили, поплакали, а прошлого, говорят, не воротишь... Через людей уж мы узнали, что Кинтя в Москве учится, а потом он и письмо прислал. Как уж он там устроился, где денег взял – ничего не знаем. Написал, что ему хорошо и что в деньгах не нуждается...

Прошло этак года с два, – продолжала матушка Руфина с тяжелым вздохом, – тут нам Кинтя и объявился в Шераме. Нежданно-негаданно, как снег на голову. «Приехал, говорит, из Москвы вас, стариков, повидать». А он эти два года в дохтурском отделении учился... То ли не дошлый парень! Обрадовались мы, что сына увидали, а про свои слезы да про горе, которое мы терпели за эти два-то года, мы и забыли... Больно уж рады мы Кинте-то были! Так рады, так рады... В те поры дочка-то, Аня-то, как раз в емназии в городе курс кончила; Никаша ее на свой счет учил – ну, нам ра-

дость вдвое. Не было ни гроша, да вдруг алтын. А Кинтя опять такой скромный да кроткий: воды не замутит. Отец совсем растаял, не надышится на него, а я, грешный человек, держу у себя на уме: «Ой, не ладно дело, что больно смирен наш Кинтя... Недаром он приехал сюда такую даль!» Уж я раскусила его тогда еще, как он отца-то дармоедом обозвал... Кротость-то у него больно уж мудреная. И ведь как он отца обошел: оказия!.. Совсем старик рехнулся и всякое зло позабыл, а следовало бы Кинтю тогда побранить, хоть для видимости. Я пробовала было ругать его, так куды тебе: отец так горой за него и стоит! Приступу нет. Ну, а вышло по-моему... Много слез привез тогда нам Кинтильян!

## VI

— Теперь об Ане сказать... — дрогнувшим голосом проговорила старушка. — Последнее наше дитячко было, Аня-то! Маленькая замарашкой такой росла, а в емназии-то выровнялась. Я уж приданое потихоньку готовила... Вот у тебя простыни да одеяла — это из приданого Ани... Да, думали со стариком, что, может, господь велит, и внучат дождемся от дочурки. А мне так это уж совсем хорошо казалось, потому сынки-то — дорого они матери стоят, а радости да привету от них не много увидишь. А дочь-то другое совсем... Она уж все понимает, и дети-то дочернины как-то ближе, чем от сыновей... Ну, мы свое соображаем, а гляжу, стала Аня задумываться... Тогда уж я и спохватилась, что Кинтя ее по-своему поворотил. Увел ведь девку...

— Куда увел?

— Да в этот ваш Петербург... Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Сколь мы ни бились, сколь ни уговаривали: наладила одно, что учиться поедет, и хоть ты ей кол на голове теши. Боялась я тогда, чтобы отец или сам не

рехнулся, или над Кинтей чего не сделал... Однако обошлось дело так. Кинтюшка-то кротким таким прикинулся, точно он и под ногами-то у себя ничего не видит... Оказия, что это за человек уродится, ведь свое рожоное, а никак ты его не распознаешь... Хорошо. Увез Кинтя нашу Аню в Петербург, и остались мы одни-одинешеньки с Прошкой нашим. Куда с ним деться-то... Отец-то и возроптал на Кинтю тогда, тихо возроптал, а вышло-то так, что и за сына его, пожалуй, не стал считать.

Прошло этак с каких-нибудь полгода, не больше, пали до нас слухи, что с Кинтей не ладно... Ни слуху ни духу. Как в воду канул. Отец-то нарочно к Никаше в город ездил, телеграмму посылали, а все ничего. Аня отписала мне потихоньку, что Кинтя-то вышел раз из дому вечером, да больше и не приходил. Объявили в полиции, и там ничего не знают. Тогда мы и узнали настоящее горе... Жив ли Кинтя, помер ли, нарезил ли – ничего не знаем. Я чуть и глаза-то все не проплакала о нем, а отец начал именно с тех пор газеты читать. Все читает и все из лица как будто темнеет. Ничего не говорит о Кинте, точно его и не бы-

вало никогда. А меня-то вдвое убивает: хоть бы он пожалел его!.. Не понимала я тогда ничего, то есть попа-то своего не понимала, что у него на уме бродит. Только этак прошло с год время... Аня-то из Петербурга так и не выезжала... Летом это мы как-то спим с попом на постели. Кровать-то у нас двуспальная старинная. Сплю я этак и слышу, как будто кто-то плачет. Как вскочу... Спросонков-то показалось, что дите плачет. Ведь покажется же... Села, да и думаю: «Кому же, думаю, плакать, ведь все большие дети-то!» А на попа-то и не подумую... Крепок он на слезы, – можно подумать, что совсем бесчувственный, а тут упал лицом-то в подушку да тихо-тихо так плачет, совсем по-ребячьи. Стала его спрашивать, утешать... Тут уж он и сказал все. Встал и говорит: «Сон видел, попадья...» – «Какой такой сон?» – спрашиваю. «А такой, говорит, не простой сон. Прилег, говорит, помолился про себя, а потом и вижу, точно наяву, Кинтю нашего. Вот как тебя вижу... Только далеко это, в нашей же стороне, где на собаках ездят. Бледный такой, исхудал, тоскливо таково смотрит. «Кинтя!» – окликнул я. Смотрит на меня,

а ничего не говорит. «Кинтя, говорю, я тридцать лет пред престолом божиим возношу молитвы, а ты... что ты наделал? Ведь ты кровь моя, мое рождение, я за тебя должен ответ богу дать на страшном суде...» Слушает меня Кинтя, а потом как у него губы затрясутся, заплачет... «Папа, – говорит это, а сам плачет, – папа, прости меня... Я не могу... Это не от меня зависит... Не моя воля!» От этих самых слов я и проснулся, и так мне стало жаль Кинти, так жаль, что кажется, вот взял бы да и умер вместо него... Жаль, и стыдно, и страшно. Ведь я против бога иду, что такого сына пожалел...» Рассказывает это мне поп, а сам так рекой и разливается... Ну, потом уж я догадалась: затеплила перед образом свечку и велела попу молитву читать... Встали мы на коленки рядышком и давай со слезами с горькими молиться за всех и за вся, и за боляры, и за вои[12]. И так-то мы жарко молились, так хорошо, что и сказать тебе не умею. Плачем и молимся, молимся и плачем... Я, грешный человек, и за Кинтю заблудящего нет-нет да и поклонник и отложу, – тоже и за Аню. Так молитвой мы тогда этот самый сон и избыли.

Точно гора с плеч...

Ведь Аня-то вскоре после этого и воротилась домой, – прибавила с оживлением старушка. – Зимой было дело... Пошла я вот в эту самую баню зачем-то... Дело вечером было. Темно совсем на дворе. Ну, иду себе ощупью, знакомое место. Только это отворила дверь в баню, гляжу, а там человек... Я так от страху и обомлела... Стою и крикнуть не могу, а сама думаю, что, наверно, это бродяжка беглый забрался на ночь, вот он уже меня кокнет чем ни на есть. А потом и слышу Анин голос: «Мама... это я, не бойся!» Я так на месте и села... дура душой и ни словечка вымолвить не могу. Это Аня-то, значит, убежала, да и пришла к отцу... Еще мужчинка перебьется как-нибудь, а дело женское, куда ей деться... Вот и сидим мы с ней, горюем. Одежонка-то на ней плохонькая, иззябла вся, не ела два дня... Ах ты, горе мое, горе бедовое! И жаль мне ее, и попу-то боюсь сказать... Потому как ее, беглую-то, держать, ведь человек не иголка, особенно в деревне, сейчас заметят и затаскают по судам. Все-таки укрепились, не сказала ничего попу, а сама отогрела Аню, накорми-

ла... Материнское сердце, из себя кусок готова вырезать, да только бы дите было сыто. Ну, так недели с две и хоронила я Аню по разным углам, а сама и ночей не сплю, и днем мне покою нет... Где стукнет, где брякнет – так у меня сердечушко и оборвется: по Аню пришли! И богу молилась, и зарок давала... Такую муку приняла, такую муку, что совсем хожу вроде как полоумная. А тут уж поп Ксенофонт успел пронюхать про Аню... И как это он узнал – ума не приложу. Ну, сейчас донос исправнику и всякое прочее. Хитрящий поп, все доносы пишет... Вот этак ночью лежим мы на кровати с попом. Он спит, а я все слушаю... вот все равно заяц в логове. Все мне мерещится, – встану, погляжу в окошечко и опять слушаю. Ну, тут и слышу: подъехали тихохонько сани... другие... Подскочила к окошку... Пришел мой конец, подкосились мои ноженьки. Проснулся поп, а исправник и входит. Знаешь Петра Иваныча... Славный такой, чаем сколько раз угощала его, ну, а тут так и думаю, зарубит он меня, непременно зарубит. Сейчас Петр Иваныч к моему попу и бумагу ему показывает. Поп так даже затрясся весь, из лица

вышел, а потом сотворил крестное знамение и говорит: «Делайте, что хотите... я ничего не знаю!..» А я уж в это время успела одуматься и сама дивлюсь, что вдруг у меня никакого страху не стало... Вот на столечко (старушка отмерила кончик мизинца) не боюсь никого: ни Петра Иваныча, никого... Ей-богу!..

Нет, постой, надо тебе еще один случай тут рассказать, – прервала старушка нить своего повествования: – была у нас курица кохинхинка... Славная такая курица и яйца несла по кулаку. Ну, посадила я ее на яйца, и вывела моя курица цыпляток... А тут, как на грех, ястреб пал на одного цыпленка и поволок. Так что бы ты думал: ведь курица-то его заклевала, ястреба-то. Ухватила за него да на крыше его и задолбила. Вся деревня тогда диву далась, – отроду не видывала этакое чудо... Ну, так когда Петр Иваныч-то после сказал, что надо теперь на дворе поискать, мне эта курица и вспади на ум. «Не дам, думаю, Аню, и кончено... Мое – не тронь!» Ей-богу, согрешила пред господом богом, – так и подумала... Ну, пошли по двору, потом, в баню. Думаю про себя, Аня беспрерменно под полук за-

лезла или под лавку, прикрою как-нибудь ее платьем... Ведь вот подумаешь, как по-ребячьи все это выходило в мыслях! Ох-хо-хо!.. Ну, пришли в баню, а Аня-то и не думала прятаться. Тут ее и взяли, голубушку, а я вроде как осатанела: ухватилась за Аню-то и давай ее к себе тащить. Кусаюсь, царапаю ногтями, кричу... Так меня в горницу отдельно унесли. Там уж я и отошла потом... Поп-то уж не знал, о ком и горевать, все думал, что и меня вместе с Аней по судам таскать будут. Однако Петр-то Иваныч попустился мне, а Аню увезли. Таскали-таскали ее по городам... а потом Аня-то стала задумываться, да и рехнулась... С год высидела в Казани в душевном лазарете, да толку не вышло. Теперь у Никаши живет. Он ее сам лечит, да только проку не будет... Все молчит и прячется, никого не узнает. Тошнехонько смотреть на нее, а помочь нечем. Думаем теперь домой ее взять. Загубили мою дочурку, вконец загубили...

Старушка неожиданно заплакала, заплакала мелкими старческими слезами, которые так и сыпались у ней из глаз. Несколько слезинок застряли и расплылись по морщинам.

Матушка Руфина не вытирала своих слез и не стыдилась их; ее выцветшие, побелевшие губы слабо шептали:

– Вот на этой самой лавке, где ты лежишь, и взяли Аню-то... Бледная такая сидит, ни кровинки в лице нет... Так вот все ее и вижу перед собой: как живая стоит... И ночью и днем покоя нет. Только вот этак чуть-чуть забудь, а она уж опять и смотрит на меня...

Матушка Руфина умолкла. Склонив седую голову на грудь, она неподвижно сидела на своей завалинке, полная святой материнской тоски. Я вспомнил слова писания: «Глас в Ра-ме слышан бысть, плач, и рыдания, и вопль мног... Рахиль бо плачущися о чадах своих и не хотяше утешитися, яко не суть».

## VII

— А Кинтильян скоро вернулся? – спросил я, выводя матушку из задумчивости.

– Кинтя-то... как же, вернулся, – проговорила старушка, просыпаясь от своего раздумья. – Только его шесть годиков ровнешенько не было... целых шесть. Мы и в живых давно его не чаяли и в поминании за упокой поминали... Уж сколько слез было принято, сколько горя – и не спрашивай! Только этак в великое говенье, перед страстной... Тогда уж оттеплено, проталинки пошли... ну, этак вечером, в сумерках уж, убираю я в кухне молоко, а под окном кто-то тихо так постучал. Думаю, бродяжка какой-нибудь. Много их об эту пору из Сибири в Расею бежит... Мы им, грешные люди, подаем хлебушка, несчастненьким. У других и полочки такие у окошек приделаны для потайной милостыни, чтобы ночью ежели придет, так сам взял кусочек-то... У нас тоже была полочка раньше, а тут ребята сломали, поп все не мог собраться наладить ее. Вот я отрезала ломоть хлеба, высунула руку в окошко и говорю: «Прими Христа ради...» Ви-

жу, что мужчина стоит в рваном этаким зипу-нишке и даже совсем синий из себя. Еще пожалела его про себя... Подаю я это ему хлеб-от, а он не берет, а только таково пристально смотрит на меня. Что за оказия, думаю. «Чего, мол, тебе надо, родименький?» – «А вы не узнаете меня?» – спрашивает. «Нет, говорю, мало ли вашего брата, бродяжек, по здешним местам проходит...» Помолчал, а потом опять и говорит: «Кинтя поклон прислал». Ну, тут у меня ноженьки подкосились, закричала я, а поп бросился за ворота и бродяжку в избу тащит. Напоили мы его чаем, накормили, а он зеленехонек, и видно по обличью-то, что из благородных. Бородка маленькая и всякое прочее... Оно уж приметно. Ну и рассказал нам бродяжка про Кинтю, что жив он и здоров, хоть и далеко отсюда. Бродяжка рассказывает, а поп и говорит мне: «Попадья, а помнишь мой сон?» Сон-то вышел у попа совсем правильный. Сидим мы с бродяжкой и беседуем, я слушаю, а сама плачу, река-рекой... и радостно мне и горько. А уж ночь на дворе, поп и говорит: «Ну, милый человек, не взыщи – обогрели мы тебя, накормили, а ноче-

вать попросись к кому другому... Оставил бы я тебя не на день, а на год за твое хорошее слово, да не моя воля: следят за мной, а узнают, что бродяжка ночевал, – со свету сживут...» Говорит это поп, а сам трехрублевую бумажку сует в руки бродяжке... Тут уж Кинтя и не стерпел – бродяжка-то Кинтя и был наш, – как заплачет... Не поверишь, мы родного сына не признали. Не признаем, и кончено: не такой у нас Кинтя был. Так уж он расстегнул рубаху и показал мне родимое пятнышко над левой грудью, так уж по пятнышку-то его признали... А поп так недели с две к нему все не мог привыкнуть: чужой, и кончено. Ох-хо-хо!.. Уже не знали мы тогда, что нам и делать: плакать ли, радоваться ли... Так совсем из ума вышибло!.. А он правильно воротился, с бумагой и всякое прочее. Ну, пыталась я спрашивать Кинтю, что и как... Ничего не рассказывает, только этак улыбнется по-своему. «Зачем, говорит, это вам знать, маменька? Был там, а теперь здесь...» А сам все скучный такой, на себя не походит и по ночам долго не спит. Раз как-то сидим с ним вдвоем, чай пьем. Он смотрел-смотрел на меня и говорит:

«Пусто, маменька, вот здесь (показывает на грудь), недолго проживу, так уж вы не очень убивайтесь, как помру... Кажись, не много радости от меня видели». А сам усмехается... Да я и сама вижу, что не жилец он у нас, в живых покойниках...

А теперь о себе-то тебе расскажу, – продолжала старушка. – Наше-то дело какое... а? Видел попа-то? Заметил, как он по сторонам оглядывается? А все от страху... Так всего и боимся: щелкнет где, стукнет – у нас и душа в пятки. Уж, кажись, чего бы и бояться: нас, стариков, никуда не подернешь, а молодых не осталось... Так вот и маячим да со дня на день ждем какой-нибудь беды. С требой[13] как-то приехали за попом, так он со страху на погреб залез... Едва оттуда его вытащили. Ей-богу... И грех и смех! Так в худых душах[14] и живем: ни живы мы, ни мертвы, а один страх... Вот я тебя и хотела спросить насчет этого: долго еще нам в худых-то душах жить? Прежде вот холерные годы бывали, тоже вот солдатчина, а нынче в худых душах живем. Погляжу это я кругом-то и точно отемнею, ничего не понимаю. Как уж мы и жить будем – одной царице

небесной известно...

Старушка, очевидно, спрашивала только для формы, чтобы поделиться своим горем с живым человеком. Она не ждала моего ответа и смотрела куда-то в сторону, опустив голову. А летняя ночь была уже на исходе; окутывавший нас мягкий сумрак сменился белесоватым светом занимавшейся зари. Звезды тихо гасли; только две или три продолжали еще теплиться мигающими блестками. Небо было серо. Откуда-то набегал слабый ветерок, безыменная птичка беззаботно и весело заливалась на ближайшей черемухе. Могучим покоем веяло от этой незамысловатой картины, которая с первым солнечным лучом проснется разом в тысячах звуков и красок. Но теперь этот покой природы заставлял подозревать что-то скрытое, недосказанное, что, казалось, висело в воздухе... Вот в этой сочной зеленой траве, подернутой утренней росой, с виду тоже тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там и здесь погибает живых существований, погибает без крика и стога, в немых конвульсиях. Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая

птичка одинаково весело ест и букашку и червяка, делаясь в свою очередь добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни...

– Гляди-ко, гляди... – зашептала таинственно матушка Руфина, толкая меня своей короткой ручкой.

В это время двери сеней домика о. Якова слегка приотворились, и в них показалась седая голова самого хозяина. Он осторожно и подозрительно огляделся кругом и вышел во двор. Где-то глухо стучала деревенская телега, старик долго прислушивался к удалявшемуся стуку, а потом, озираясь по сторонам, подкрался к воротам и припал глазом к узкой щели в полотнище калитки. Что-то такое жалкое и несчастное было в этой старческой фигуре, которая теперь стояла у ворот в положении насторожившегося зайца...

# ПРИМЕЧАНИЯ

**В**первые напечатан в «Вестнике Европы», 1882, № 12, с подзаголовком «Люди и нравы в Зауралье». Подзаголовок сохранен в первом издании книги «Уральские рассказы». М., 1888. Критика положительно отозвалась о рассказе. Рецензент журнала «Северный вестник» (1888, № 9) писал о нем как об одном из лучших произведений, напечатанных в «Уральских рассказах», однако указал, что подзаголовок не вполне соответствует содержанию рассказа. «Изображаются «люди», каких в Петербурге, конечно, больше, чем в Зауралье, и рисуются нравы не совсем обыкновенные для глухого медвежьего угла». Подзаголовок снят автором в третьем издании «Уральских рассказов» (М., 1899).

Рассказ был написан в пору тяжелой реакции, наступившей в стране после убийства народниками Александра II. Изображение трагической судьбы талантливых и самоотверженных детей матушки Руфины являлось резким протестом против полицейского бесчинства, гневным осуждением атмосферы тя-

гостной подозрительности, политических доносов, слежки и преследований.

*А. Груздев*

# Примечания

Абориген – коренной житель.

[^^^]

Тебеневки – пастбища.

[^^^]

# 3

Изгребной холст – грубый холст, сотканный из оческов льна.

[^^^]

# 4

Доспиеет – поспеет. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

# 5

Сабан – род примитивного двухколесного плуга.

[^^^]

# 6

Маркс – «Капитал» (немецк.).

[^^^]

# 7

Нанковый – сделанный из нанки – грубой хлопчатобумажной ткани.

[^^^]

# 8

Казинет – плотная бумажная или полшерстяная ткань.

[^^^]

Люстрин – шерстяная или полушерстяная ткань с глянцем.

[^^^]

Матери-кормилице. Здесь имеется в виду учебное заведение.

[^^^]

Шадриный – рябой.

[^^^]

... за боляры и за вои – буквально: за бояр и за воинов. Здесь употреблено в переносном смысле: наивная матушка Руфина молится за обидчиков и за обиженных.

[^^^]

Треба – отправление церковного обряда по заказу кого-либо из верующих прихожан (исповедание умирающего, молебствие и т. п.).

[^^^]

«В худых душах» – равносильно при смерти, в ожидании смерти. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]